

Пещера, Евгений Замятин

Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может, серохоботый мамонт; может быть, ветер; а может быть – ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже; и надо все больше наворачивать на себя косматых звериных шкур...

Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И, завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья, – пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда; тут надо было выдержать осаду – или умереть.

В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в Ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменновоковые, гончарного вида лепешки; Скрябин опус 74; уют; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей этой вселенной – бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка.

Бог могуче гудел. В темной пещере – великое огненное чудо. Люди – Мартин Мартиныч и Маша – благоговейно, молча, благодарно простирали к нему руки. На один час – в пещере весна; на один час – скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки – мысли.

– Март, а ты забыл, что ведь завтра... Ну, уж я вижу: забыл!

В октябре, когда листья уже пожолкли, пожухли, сникли, – бывают синеглазые дни; запрокинуть голову в такой день, чтобы не видеть земли, – и можно поверить: еще радость, еще лето. Так и с Машей: если вот закрыть глаза и только слушать ее – можно поверить, что она прежняя, и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу – это не ее голос, совсем не она...

– Ай, Март, Март! Как всё... Раньше ты не забывал. Двадцать девятое: Марии, мой праздник...

Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было: будет только в десять. Колыхались лохматые, темные своды пещеры. Мартин Мартиныч – на корточках, узлом – туже! еще туже! – запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо, чтобы не увидеть пожолклые, сникшие губы. А Маша:

– Понимаешь, Март, – если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было как сейчас! А? Ну, сколько у нас? Ну с полсажени еще есть в кабинете?

До полярного кабинета Маша давным-давно не могла добраться и не знала, что там уже... Туже узел, еще туже!

– Полсажени? Больше! Я думаю, там...

Вдруг – свет: ровно десять. И, не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при

свете – труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно: лицо у него скомканное, глиняное (теперь у многих глиняные лица: назад – к Адаму). А Маша:

– И знаешь, Март, я бы попробовала – может, я встану... если ты затопишь с утра.

– Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну, конечно – с утра.

Пещерный бог затихал, съеживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки – каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше и молотил на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепешек – и кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в потолок, в стекла, в стены: «Где бы дров – где бы дров – где бы дров».

Мартин Мартиныч надел пальто, сверху подпоясался кожаным поясом (у пещерных людей миф, что от этого теплее), в углу у шифоньера громыхнул ведром.

– Ты куда, Март?

– Я сейчас. За водой вниз.

На темной, обледенелой от водяных сплесков лестнице постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и, кандално позвякивая ведеркой, спустился вниз, к Обертышевым: у них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, в перетянутом веревкой пальто, давно не бритый, лицо – заросший каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном пустырь. Сквозь бурьян – желтые каменные зубы, и между камней – мгновенный ящеричный хвостик – улыбка.

– А, Мартин Мартиныч! Что, за водичкой? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться – в клетке обертышевские дрова. Глиняный Мартин Мартиныч боком больно стучался о дрова – в глине глубокая вмятина. И еще глубже: в темном коридоре об угол комода.

Через столовую. В столовой – обертышевская самка и трое обертышат; самка торопливо спрятала под салфеткой миску: пришел человек из другой пещеры – и бог знает, вдруг кинется, схватит.

В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев:

– Ну что же: как жена? Как жена? Как жена?

– Да что, Алексей Иваныч, все то же. Плохо. И вот завтра – именины, а у меня топить нечем.

– А вы, Мартин Мартиныч, стульчиками, шкафчиками... Книги тоже: книги отлично горят, отлично, отлично...

– Да ведь вы же знаете: там вся мебель, все – чужое, один только рояль...

– Так, так, так... Прискорбно, прискорбно!

Слышно в кухне: вспархивает, шуршит крыльями залетевшая птица, вправо, влево – и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью:

– Алексей Иванович, я хотел... Алексей Иванович, нельзя ли у вас хоть пять-шесть поленьев...

Желтые каменные зубы сквозь бурьян, желтые зубы – из глаз, весь Обертышев обрастал зубами, все длиннее зубы.

– Что вы, Мартин Мартиныч, что вы, что вы! У нас у самих... Сами знаете, как теперь все, сами знаете, сами знаете...

Туже узел! Туже – еще туже! Закрутил себя Мартин Мартиныч, поднял ведро – и через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку:

– Ну, всего... Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, обе – не натопишься!

На темной обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь. Прислушался, услышал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся – пунктирное, точечками – дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал – полено, и еще, и еще... Нет! Скорей выпихнул себя на площадку, притворил дверь. Теперь надо только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок...

И вот – нет силы. Нет силы прихлопнуть Машино завтра. И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились насмерть два Мартин Мартиныча: тот, давний, со Скрыбиным, какой знал: нельзя – и новый, пещерный, какой знал: нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил – и Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь, запустил руку в дрова... полено, четвертое, пятое, под пальто, за пояс, в ведро – хлопнул дверью и вверх – огромными, звериными скачками. Посередине лестницы, на какой-то обледенелой ступеньке – вдруг пристыл, вжался в стену: внизу снова щелкнула дверь – и пропыленный обертышевский голос:

– Кто там? Кто там? Кто там?

– Это я, Алексей Иванович. Я... я дверь забыл... Я хотел... Я вернулся – дверь поплотнее...

– Вы? Гм... Как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь все крадут, сами знаете, сами знаете. Как же это вы так?

Двадцать девятое. С утра – низкое, дырявое, ватное небо, и сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог набил брюхо с самого утра, милостиво загудел – и пусть там дыры, пусть обросший зубами Обертышев считает поленья – пусть, все равно: только бы сегодня; «завтра» – непонятно в пещере; только через века будут знать «завтра», «послезавтра».

Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась по-старому: на уши, посередине пробор. И это было – как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартиныч вытащил бумаги, письма, термометр, какой-то синий флакончик (торопливо сунул его обратно – чтобы не видела Маша) – и, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку: там, на дне, был еще настоящий – да, да, самый настоящий чай! Пили настоящий чай. Мартин Мартиныч, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос:

– Март, а помнишь: моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино – деревянный конек – пепельница, и я играла, а ты подошел сзади...

Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре.

– А помнишь, Март: открыто окно, зеленое небо – и снизу, из другого мира – шарманщик?

Шарманщик, чудесный шарманщик – где ты?

– А на набережной... Помнишь? Ветки еще голые, вода румяная, и мимо плывет последняя синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно от гроба, потому что ведь мы – никогда не умрем. Помнишь?

Внизу начали колотить каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И, расколотый надвое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой – пунктирно дыша – пересчитывал вместе с Обертышевым поленья дров. Вот уж Обертышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами, – свирепо хлопает дверью, и...

– Погоди, Маша, кажется – у нас стучат.

Нет. Никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно запрокинуть голову, слушать голос – такой похожий на тот, прежний.

Сумерки. Двадцать девятое октября состарилось. Пристальные, мутные, старушечьи глаза – и все ежится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседает сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол, Мартин Мартиныч, кровати, и на кровати – совсем плоская, бумажная Маша.

В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый – теперь уже вытек наполовину, болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погремушке. Но еще по-старому погромыхивал смехом.

– Ну-с, Мартин Мартиныч, во-первых-во-вторых, супругу вашу – с тезоименитством. Как же, как же! Мне Обертышев говорил...

Мартина Мартиныча выстрелило из кресла, понесся, заторопился – говорить, что-нибудь говорить...

– Чаю... я сейчас – я сию минуту... У нас сегодня – настоящий. Понимаете: настоящий! Я его только что...

– Чаю? Я, знаете ли, предпочел бы шампанского. Нету? Да что вы! Гра-гра-гра! А мы, знаете, с приятелем третьего дня из гофманских гнали спирт. Потеха! Налакался... «Я, – говорит, – Зиновьев: на колени!» Потеха! А оттуда домой иду – на Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей-богу! «Что это вы?» – говорю. «Да ничего, – говорит... – Вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский». Потеха!

Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугий узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч – чтобы подбросить в Селихова дров, чтобы он только не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще...

Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево; встал.

– Ну-с, именинница, ручку. Чик! Как, вы не знаете? По-ихнему честь имею кланяться – ч.и.к. Потеха!

Громыхал в коридоре, в передней. Последняя секунда – сейчас уйдет, или – ...

Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глиняно улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты.

В ботах, в шубе, мамонтоподобный – выпрямился, отдышался. Потом молча взял Мартин Мартиныча под руку, молча открыл дверь в полярный кабинет, молча сел на диван.

Пол в кабинете – льдина; льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега – и понесла, понесла, закружила Мартина Мартиныча, и оттуда – с диванного, далекого берега – Селихова еле слышать.

– Во-первых-во-вторых, сударь мой, должен вам сказать: я бы этого Обертышева, как гниду, ей-богу... Но сами понимаете: раз он официально заявляет, раз говорит – завтра пойду в уголовное... Этакая гнида! Я вам одно могу посоветовать: сегодня же, сейчас же к нему – и заткните ему глотку этими самыми поленьями.

Льдина – все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный – так, щепочка – Мартин Мартиныч ответил – себе, и не о поленьях... поленья – что! – нет, о другом:

– Хорошо. Сегодня же. Сейчас же.

– Ну вот и отлично, вот и отлично! Это – такая гнида, такая гнида, я вам скажу...

В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой – Мартин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрогнул: голос, похожий на Машин, на прежний...

– О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки? А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом – и куда-нибудь, чтоб солнце... Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно. Ведь ты же знаешь – я не могу, я не могу, я не могу!

Ножом по стеклу. Впрочем – теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их – нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы, и вертеть лебедку – одного человека мало: надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться чайник, кастрюльку, подбросил последние обертышевские поленья.

– Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ж ты молчишь? Ты слышишь?

Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленнее двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука – ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку – загремело на пол, пещерный бог змеино шипел. И оттуда, с далекого берега, с кровати – чужой, пронзительный голос:

– Ты нарочно! Уходи! Сейчас же! И никого мне – ничего, ничего не надо, не надо! Уходи!

Двадцать девятое октября умерло, и умер бессмертный шарманщик, и льдины на

румяной от заката воде, и Маша. И это хорошо. И нужно, чтоб не было невероятного завтра, и Обертышева, и Селихова, и Маши, и его – Мартина Мартиныча, чтоб умерло все.

Механический, далекий Мартин Мартиныч еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал с полу кастрюльку, и кипятил чайник, и, может быть, что-нибудь говорила Маша – не слышал: только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов, и от углов шифоньера, стульев, письменного стола.

Мартин Мартиныч медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова – письма. И наконец, откуда-то, с самого со дна, темно-синий флакончик.

Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный – как пещерная жизнь и смерть – электрический свет. И такой простой – рядом с уютгом, 74-м опусом, лепешками – синий флакончик.

Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник, постучал крышкой. Маша обернулась:

– Скипел чай? Март, милый, дай мне – ...

Увидела. Секунда, насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом: скорченный перед печкой Мартин Мартиныч; на письмах – румяный, как вода на закате, отблеск; и там – синий флакончик.

– Март! Ты... ты хочешь...

Тихо пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова – тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша – так же просто, как просила чаю:

– Март, милый! Март – дай это мне!

Мартин Мартиныч улыбнулся издали:

– Но ведь ты же знаешь, Маша: там – только на одного.

– Март, ведь меня все равно уже нет. Ведь это уже не я – ведь все равно я скоро... Март, ты же понимаешь – Март, пожалей меня... Март!

Ах, тот самый – тот самый голос... И если запрокинуть голову вверх...

– Я, Маша, тебя обманул: у нас в кабинете – ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там между дверей... Я украл – понимаешь? И Селихов мне... Я должен сейчас отнести назад – а я все сжег – я все сжег – все! Я не о поленьях, поленья – что! – ты же понимаешь?

Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры, и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша.

– Март, если ты меня еще любишь... Ну, Март, ну вспомни! Март, милый, дай мне!

Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина. И этот голос... Мартин Мартиныч медленно встал с колен. Медленно, с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше.

Она сбросила одеяло, села на постели, румяная, быстрая, бессмертная – как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась.

– Ну вот видишь: не даром я лежала и думала – уехать отсюда. Зажги еще лампу – ту, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку – я хочу, чтобы огонь...

Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь.

– Теперь... Иди погуляй немного. Там, кажется, луна – моя луна: помнишь? Не забудь – возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть – ...

Нет, там луны не было. Низкие, темные глухие облака – своды – и всё – одна огромная, тихая пещера. Узкие, бесконечные проходы между стен; и похожие на дома темные, облещенные скалы; и в скалах – глубокие, багрово освещенные дыры: там, в дырах, возле огня – на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сдувает из-под ног белую пыль, и никому не слышная – по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках – огромная, ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта.

1920 год